
Ольга АНДРЕЕВА

НЕ ПРЕДАВАЙ НИ ВЫЖИВШИХ, НИ ПАВШИХ

Леонид Григорьян, которому в год начала войны было одиннадцать лет, тем не менее сумел оставить о ней ценные и точные свидетельства. Рано проснувшийся интеллект плюс незабываемые потрясения, коснувшиеся его семьи непосредственно, дали ребенку горькую возможность осознать и запомнить, по-взрослому пережить и проанализировать отнюдь не детского ума впечатления и события.

Григорьян родился 27 декабря 1929 года, соответственно, 90-летие мы отметили совсем недавно. Родился и умер в Ростове-на-Дону, прожил всю свою яркую и сложную жизнь в одном и том же доме на улице Горького. Теперь на этом доме две мемориальные доски — Григорьяну и его соседу — детскому писателю Полиену Яковлеву.

В 1937 году арестовали отца, экономиста Григория Ильича Григорьяна.

«Отец у меня сидел три года. Его освободили в 40-м, когда Ежова сменил Берия. Тогда же отпустили В. Фоменко, В. Закруткина. Если бы отец был начальником, его бы все равно расстреляли, как Ченцова, Шеболдаева и других партработников и крупных инженеров. Но он был рядовым экономистом, беспартийным. Он там, в застенках, ничего не подписывал, ни в чем не признался. Когда его посадили, он пытался покончить с собой. Наточил о стенку ручку зубной щетки и перерезал вены, а для верности вскрыл себе еще и живот — сделал харакири. Но это быстро заметили и его спасли. А перед этим он голодал. Несколько дней держал сухую голодовку. Он потом мне все рассказывал. Говорил, что четыре дня перед глазами пайки хлеба, а потом уже есть не хочется.»

Несмотря на все это, я был советским человеком. Но вот, когда увидел горящее здание НКВД, — была радость на душе.

Потом мы в это обгоревшее здание НКВД лазили с мальчишками, посмотреть на те ужасные подвалы. Его наши и взорвали. И радиокомитет, и это здание. Часть архивов вывезли, а остальные сожгли. Потом, правда, говорили, что они загорелись от бомбежки, но это абсолютное вранье».

Это произошло в период первой, восьмидневной, оккупации.

Мы не охали над задачками, мы нечасто гоняли в футбол.

Мы по-взрослому шли с передачами, ухватившись за мамкин подол.

Населяли мы не Швамбранию, а недетский архипелаг,

Где сиротские души ранили «тройка», «высылка», «особлаг».

Ольга Андреева — поэт. Родилась в г. Николаеве. Член Союза российских писателей, Южно-русского Союза писателей и Союза писателей XXI века. Автор восьми поэтических сборников. Публиковалась в альманахе «ПаровозЪ», в журналах «Нева», «Плавающий мост», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Новая Юность», «Крещатик», «Зинзивер», «Армак», «Южное сияние», «Ковчег», «День и ночь» и др. Живет и работает в Ростове-на-Дону.

Нас от люльки копнили для силоса, пистолет приставив к виску,
 И по этим словам учились мы великому языку.
 Годы шли, и сугробы таяли. Наше детство уже далеко.
 Но по-прежнему нераскаянно смотрит в очи бесстыжая К^о.
 Им и нынче привольно дышится. Нет на них ни суда, ни грозы.
 Только им ничего не спишется — ни единой детской слезы.
 Мы в ответе перед потомками. И — пускай не сносить головы! —
 Запасайтесь гробами, подонки! Наше детство идет на вы!

(1965. Л. Григорьян. Из неопубликованного при жизни)

Оба периода немецкой оккупации Ростова семья пережила в городе — обе оккупации были внезапными, эвакуироваться успели далеко не все. (Успело, еще в октябре 1941 года, уехать руководство города, были эвакуированы десятки крупных предприятий и учебных заведений.) Оккупации предшествовало несколько месяцев страшных бомбежек. Первая оккупация длилась восемь дней в ноябре 1941 года. Но как зверствовали немцы в Ростове эти восемь дней...

Об оккупации 1942—1943 годов Григорьян пишет: *«Перед самым приходом немцев мы с бабушкой, мамой, соседями начали своим пехом отступать. Дошли до Александровки. Попали под обстрел. Прятались в доте. Для боевых действий он не пригодился, а вот нам послужил. Из этого дота мы и слышали немецкую речь. Выбрались и пошли обратно — по домам. Отец мой был инженером, со многими людьми он восстанавливал понтонный мост в Нахичевани. И потом вдруг исчез. Приходит человек и говорит: отца видели убитым, труп его там лежал. И мы были уверены в том, что он погиб. Потом выяснилось, что он отступил вместе со всеми. И после освобождения Ростова сразу же вернулся».*

И вот эта жизнь под немцами, изнанка войны, невероятная трансформация и самой действительности, и многих знакомых и незнакомых людей потрясла и сформировала подростка, наградила ранней мудростью и глубоким пониманием человеческой природы. Слишком ранним и слишком едким пониманием...

«Возраст бесстрашия» — говорит о себе Григорьян. Они видели больше взрослых — не видимые ими, кто тогда обращал внимание на вездесущих мальчишек? Тут бы выжить да хлеба насущного раздобыть для семьи. А у детей, не обремененных этими заботами, активных и наблюдательных, все виденное сохранилось в памяти навсегда и определило дальнейшее развитие их личностей. Это было совершенно особое поколение. Потому что все мы родом из детства, как известно...

«Стою я на углу Буденновского и Горького и вижу — едут конные немцы. Вдруг из подъезда ближайшего дома выходят человек шесть картинных казаков. Вот с такими длинными бородами, наверное, с навесными, усами, с околышами. И подносят немцам хлеб-соль. Откуда бы им тут взяться? Может; это все и разыграно было, мне так показалось.

А вот на углу Театрального и Большой Садовой я видел настоящий казачий патруль. Все красавцы, с чубами точно на иллюстрациях Королькова к „Тихому Дону“. Просто классика. Они едут, и стоит старушонка: „Соколики! Орлы!“ Это были краснолицы».

И как вы думаете, мог ли человек, увидевший такое ребенком, симпатизировать всему фольклорно-казачьему на Дону всю свою последующую жизнь?

«Началась обычная страшноватая жизнь. Мне-то что — 11 лет — возраст бесстрашия. Я ходил совершенно спокойно по городу с ребятами. Воровали тогда в городе по-черному. У многих было ощущение, что это навсегда. Потом появилась всякая шваль и нечисть. Чтобы завладеть квартирами, имуществом соседей, вырывали людей мгновенно. И невероятно просто. Донос — и все».

Началось страшное. Его матери-еврейке грозила опасность. *«У меня отец армянин, а мать еврейка. И мы очень боялись за маму. Мы из своего дома ушли к бабушке, туда, где*

нас не знали. Мама пряталась две недели в погребе, по ночам мы носили ей еду. А потом ее прятали две старушки, очень верующие, совершенно ей незнакомые. Они понимали, чем рискуют, а рисковали они своей жизнью. Чтобы выйти из города, нужен был паспорт с особой отметкой. И вот тетя сделала маме липовый паспорт. Это потрясающий документ, он хранится у меня до сих пор. Сразу видно, что он подделан: другие чернила другой почерк. Но на фотографии мама была не очень похожа на еврейку. И вот на него в комендатуре нужно было поставить печать, без наклепки не выпускали. Идти с таким паспортом безрассудство, но и оставаться в городе равносильно смерти. И вот этот паспорт предварительно был опущен сначала в керосин, потом в подсолнечное масло, измят основательно. Мама пошла к коменданту, а я ждал ее в скверике. Ждал пять часов и думал, что она уже не вернется. А оказалось, что там была большая очередь. И вот мама подошла к столу, откуда-то картинно вытащила свой документ, играя простую женщину. За столами там сидели двое русских. Тот, к которому подошла мама, только взял в руки паспорт и говорит: „Господа, господа, а ведь паспорт-то наведенный!“ И вся очередь замерла. Двое паспортистов переглянулись друг с другом. Он помедлил немного и поставил печать. Наверное, там в комендатуре, не все сволочи работали. Мама ушла из Ростова в хутор Алексеевку к родственнице и там жила».

И вот этот героизм простых людей, эта человечность, способность рисковать собой ради незнакомого хорошего человека тоже были усвоены подростком не из книг, не из кино, а в самой близкой и непосредственной реальности.

И тут же — уроки предательства. Тоже незабываемые. Когда завуч их советской школы выступил с речью перед собравшимися детьми. «Сухопарый с брюзгливым лицом. Очень противный, мы его и раньше не любили. Он говорил: „Наступили новые времена. Немцы освободили нас от большевизма. Мы теперь свободные люди. Вы должны хорошо учиться, слушаться властей, и все будет прекрасно“. Как дико было слушать такое. Все стояли в изумлении и молчали. А я вообще был в ужасе. В школу я не пошел. Судьба этого учителя мне неизвестна».

Предательства вокруг было много. Леонид стал свидетелем ареста Полиена Яковлева как партийного активиста. «Смотрю, выходит Полиен с палочкой. Он прихрамывал. Маленький такой, бледный ужасно. А за ним — два полицая. Я запомнил, что у них были черные петлицы на кителях. Русские. Он на меня посмотрел с ужасом, боясь за меня, как я понял. Его вывели. Тут же стояла машина. Я выглянул: со двора выводили, инженера Шатохина. Теперь у нас на подъезде дома по улице Горького установлена мемориальная доска. Вскоре выяснилось, кто их выдал, да и других жильцов дома — тоже. Была у нас такая Ольга Дмитриевна Ларионова. Ее немцы назначили уполномоченной по дому. Немцы, очевидно, ей хорошо платили за эту подлую работу. После войны ее арестовали, дали семь лет. Она вышла как-то быстро. Видимо, и там стучала».

И эта детская травма предательства пребыла с ним всю жизнь — да разве только с ним...

Как сладостно витать среди высот-красот,
Швыряя по углам опорожненной тарой!
А в голове свербит: а кто меж нас сексот?
Не тот ли говорун? Не этот ли с гитарой?
Хоть времена не те и рядом все свои!
И что у нас отнять, у болтунов завзятых?
Но все-таки молчи, скрывайся и таи —
Девиз сороковых тире семидесятых...

«Люди вели себя по-разному. Мне один приятель рассказывал такой случай, а он жил в Нахичевани, сам он поляк, Дима Зиомир, его уже нет в живых. Рядом с ним жил че-

ловец, который служил в гестапо и активно служил. Однажды они шли по улице. А по другой стороне идет женщина. Тот и кричит: „Смотри, смотри, я же знаю она еврейка“, — и кинулся за ней. А ведь немцев рядом не было, никто его за язык не тянул и выслуживаться было не перед кем. Что было с этой женщиной дальше — ясно. И вот, что любопытно. Тот человек ушел с немцами, исчез. Прошло пять лет, и Дима идет как-то и видит, как возле какого-то магазина остановилась машина, и тот человек, бывший гестаповец, стал выгружать арбузы. Я у Димы спрашиваю: „Как же ты поступил?“ Он отвечает: „Ты знаешь, я сам был не свой. Крутился-крутился, но донести не смог“. Я потом подумал и понял: я тоже не уверен, донес ли бы я или нет. Донос ведь он всегда донос: НКВД, немцам ли. Но мне все-таки кажется, что я бы себя пересилил, уж очень близко принял я к сердцу расстрелы ростовчан. У мамы все родственники погибли, все...»

Одно из главных, программных стихотворений Григорьяна, по названию которого он назвал книгу, вышедшую в 2008 году, — «Одиннадцатая заповедь». Это заповедь «не предавай».

Не предавай! — горит светлее света
Над всеми перепутьями пути.
Не предавай! — хоть заповеди этой
Он так и не успел произнести.

Не предавай! — неотразимо просто
Зовет скрижаль из глубины веков.
Но вот дрожит наследник и апостол,
Отрекшийся до первых петухов...

Не предавай ни выживших, ни павших,
Ни в страхе, ни в тоске, ни во хмелю.
Не предавай, блудливо прошептавши:
Сегодня так, а завтра испуплю.

Не предавай корысти на потребу,
Навязанным обетам и ролям,
Ни женщине, ни царствию, ни хлебу.
На том стоит содружество землян.

Романтического отношения к женщине — как в книгах, жадно им поглощаемых с раннего детства, — вокруг не наблюдалось. Немцы не стыдились ни женщин, ни детей, да и некоторые русские тоже. «Помню, где были публичные дома. Солдатский находился во Дворце пионеров, как говорили. А офицерский — на Соколова, ближе к стадиону „Динамо“. Там были русские женщины. Но и в отдельных домах жили продажные женщины, это чтобы немцам далеко ходить не надо было. Там, где я жил, у бабушки стояли на постое эсэсовцы. По ночам они ходили в одних подштанниках к бабушкиной соседке — Дуське. Огромная такая баба. Работала в каком-то детском саду. У нее пропускная способность была потрясающая. Но она была еще и сволочь к тому же...»

Из такого детства — как было не вырасти ироничным циником? Как было не стать философом? Детские воспоминания Леонида Григорьяна — ключ к его творчеству и его судьбе.

Тем временем все детское в городе кончилось. «Во время оккупации мы никаких праздников не отмечали. Взять Новый год — и слышно ничего об этом не было. Зимой люди вообще из дома не выходили — мороз трескучий был».

С тех же лет началась и его религиозность — до того не привитая обычному советскому школьнику. И оставшаяся с ним на всю жизнь. «В то время почти все люди ста-

ли верить в бога. К кому же еще обращаться за помощью, если тебе на голову сыпались бомбы. При немцах открыли собор. Я тоже тогда верил в бога. По городу разбрасывали религиозные листовки. Молитвы бросали в почтовые ящики и просили переписывать их и передавать другим. Сама жизнь давала импульс веры. Причем такая вера: искренняя, безоглядная, больше не повторялась. Помню я говорил тетке: „Я молиться не умею“. А она: „Ты молись своими словами“. И я, стоя ночью в кровати, обливался слезами и лепетал: „Николай Чудотворец! Соверши чудо — спаси моего папу!“»

Жизнь без амбиций, и фанаберий,
Без Аустерлицев и Коктебелей?
Кто там — Берия или Гиберий? —
Через века напомним.
Мы сбереглись после всех порубок
Перед свечой между стен-скорлупок.
Видимо, дух наш не так уж хрупок
В этой вселенской домне.
Непротивленье и неучастье —
Это и есть благодать и счастье.
Целое ниже ничтожной части
В мире бурном и брэнном.
Нету бесценней, чем тихий и лишний.
Дальний мой друг, ты и есть мой ближний.
Что до Всевышнего, то Всевышний
Благоволит к смиренным...

Тогда же случилось и то, за что Григорьян расплачивался своим здоровьем всю жизнь. Живший у них молодой рыжий немец Гайнц разозлился на бабушку, предлагавшую ему кипяченую воду вместо кипятка, который он требовал. *«Тогда он хватает мою крохотную бабушку и швыряет ее через всю комнату. Она падает, бьется головой о диван. И тут я от своего детского бесстрашия, а мне было 12 лет, вскакиваю и наношу ему удар кулаком. Я едва ему до пояса доставал, и для него это был как укус комара. Он разворачивается. Я такого страшного лица никогда в жизни не видел. У него что-то, наверное, сдвинулось. Одним ударом он сбил меня с ног, а потом, вращая руками и ногами, поволок меня через весь длинный коридор и последним пинком вышиб на лестницу. И я покатился по ступенькам. Вскочил где-то на середине лестничного марша и закричал ему: „Дурак!“ А это слово он знал. Он испустил дикий рев. Если бы у него под рукой было оружие, он бы меня, без сомнения, пристрелил. Я кинулся бежать и три дня прятался».*

Не об этом ли бегстве — февральском, перед самым освобождением Ростова! — он потом написал:

Ночь в феврале

Доселе сохранил зрачок
Развалины, и вьюгу,
И тыловой грузовичок,
Потряхивавший к югу.

Казалось, лютая война
Планету сокрушила.
Лишь мы остались да она —
Живучая машина.

Она нащупывала путь
Найти и везенья.
Она везла в куда-нибудь —
В забвение-спасенье.

Пустынный город провожал
Нечастыми огнями.
Уже дышал, еще лежал
Под снегом, под камнями.

Не шли прощальные слова.
Но крепло за спиною
Неукротимого родства
Дыханье ледяное.

Над средоточием скорбей
Звезда обозначалась.
А ледяная колыбель
Качалась и качалась.

Мальчишкам той поры не хотелось играть в мушкетеров или пиратов. Во все глаза смотрели они на происходящее с их городом, ни одно событие в нем не хотели пропустить. Лазили по руинам, подвалам, засыпанным комнатам... И стрелять умели из всего, и о подвигах мечтали... Насмотрелись, нахлебались, кровавой романтикой их больше не соблазнишь.

Старик Дюма и многотомный Купер
Со Стивенсоном и Хаггардом вкупе
Меня уже тогда не волновали,
Да были и дочитаны едва ли...
Есть мужество пиратское, но кроме
Есть мужество прожить в том самом доме,
В том самом прозаическом квартале,
Где сверстники о подвигах мечтали.
Есть отвращенье к косности, но кроме —
Естественное отвращенье к крови.
Оно одно и в сорок, и в двенадцать,
Но только в детстве в этом не сознаться.

1965

«Писал стихи. И под подушку прятал» — так заканчивается это стихотворение. Знает, в детстве еще писал. А публиковаться начал только в 37 лет...

Он рассказывал позже друзьям, как перетаскивал тогда тома Брокгауза и Эфрона из разрушенной конторки на Ворошиловском, в мороз, тяжеленные, по одной книге в день.

Было сопротивление в городе, были настоящие подвиги! И он не понимал иногда покорности и обреченности взрослых людей. *«В нашем доме выдали всех евреев. А некоторые сами шли от безнадежности. Вот так пошла моя бабушка по линии матери.*

Я сам видел одну такую колонну. Охрана была небольшой, убежать можно было запросто или просто затеряться среди прохожих, но люди шли обречено. Многие знали, куда их ведут. Я узнал в колонне соседа по дому. Молодой человек, красивый, высокий. Он нес

на плече ребенка лет трех. Он шел, как на демонстрацию, так, наверное, и сказал своему ребенку». А в домах тех, кого ведут в Змиевскую балку, уже новые жильцы вспарывают подушки в поисках бриллиантов — и выбрасывают распоротые в окна...

В периоды смены власти, временного безвластия, народ бросался в магазины, на склады — сделать хоть какой-то запас, чтобы не голодать в будущем... Но на тех, кто при этом терял человеческое лицо, все-таки глядели нехорошо.

Те времена

Я помню, как, отведав сдобы,
Мы багровели от стыдобы,
Как колченогую кровать
Стыдились пледом прикрывать.

В стране голодной и холодной,
Огромной самой на Земле,
Змеей таился подколодной,
Кто вдоволь ел и спал в тепле.

Он жил, самим собой отринут,
Готов ослепнуть, онеметь,
И не от страха, что отнимут —
От стыдной участи иметь.

Людей оглядывала строго
Война ли, родина, беда?..
Другая на дворе эпоха,
Но в сердце сохранилась та.

А когда Ростов освободили — горькой несправедливостью виделись Леониду репрессии против людей, работавших при немцах. Среди них была и его родная тетка. *«Почти всех сажали, кто работал при немцах, где бы-то ни было. А как, на что можно было жить, не работая? Ведь те, кто работал, кормили свою семью». В анкеты ввели графу «был ли в оккупации?».* Если был — это считалось клеймом... Наверное, полагалось правильным в ней умереть от голода — лишь бы не вынести в новую послевоенную жизнь плоды чуждой агитации, рассказывающей о страшных фактах сталинских репрессий довоенных лет.

Жестокая несправедливость Родины к этим людям тоже отпечаталась в сознании юного Григорьяна. Когда на твоих глазах одна пропагандистская машина сменяется другой, прямо противоположной, а затем снова возвращается первая — ты получаешь прививку к пропаганде на всю оставшуюся жизнь. Это и случилось с 13-летним Леонидом Григорьяном.

Отступая, немцы расстреляли всех узников тюрьмы. *«После расстрела в тюрьме по городу стоял ужасный трупный залах. Взломали ворота, и весь город ходил туда искать своих родственников, ведь в каждой семье кто-то пропал. Надевали марлевые повязки и искали своих. Там, говорят, нашли и Полиена Яковлева».*

«Мальчишкой все воспринимаешь особенно обостренно. Это потом мы стали понимать, что немецкая нация была растлена. Покаяние к немцам пришло потом. Но мой друг, писатель Виталий Семин, который тоже был в оккупации мальчишкой и был угнан из Ростова в Германию, долго носил в себе именно детские воспоминания о немцах. И ру-

гал их ужасно, считая, что все они виноваты. А потом я понял: ему нужно было сохранить в себе первозданные впечатления, иначе он не написал бы свой великолепный роман „Нагрудный знак OST“ о своих злоключениях в Германии и повесть „Ласточка звездочка“, в которой описал жизнь мальчишки в оккупированном Ростове».

Отечественная

Когда идут на плаху контрики,
Горящих глаз не прикрывая,
Свои бессмысленные коники
Они и тут не забывают.
Они и тут упрямо сетуют,
Что не очистились в горниле,
Что палачи всего не ведают,
А жертвы им не объяснили.
Не стратотерпцы и не воины,
А помираем не в пижаме.
Неужто вправду удостоены
Удела сгинуть за скрижали!
Мы так мельчали за раздорами,
Любя всего наполовину
Простых, униженных, которые
Штыком подталкивают в спину.
Мы слишком рано обессилели,
Не до конца испили муки...
Таковыми будут ваши сироты.
Таковыми станут ваши внуки.
Лежат под травами росистыми
Интеллигентки российские.
А все, что сослепу навздорили,
И есть российская история.

1965

* * *

Я с трех лет живу в этом доме —
многолюдной сталинской шестизэтажке,
в детстве казавшейся небоскребом
среди низкорослых саманных халуп...

Этот дом содрогался от страха
вместе с теми, кто в нем обитали,
когда в тридцать седьмом — ночами —
загребали мужчин подчистую:
русского Ленкова, диспетчера Водоканала,
еврея Ламдина, секретаря райкома,
латыша Фогеля, комбрига-орденоносца,
осетина Дзедзиева, адвоката,
поляка Снитковского, краеведа,
армянина Григорьяна, экономиста.

уж если дружба народов, так до упора —
дружите, выродки, на лесоповале!

А затем забирали их жен, а вскоре
их детишек — в сиротские интернаты,
так что к началу войны в этом доме
никого не осталось из старожил.

Но потом пришли немцы — и все сначала:
взяли инженера Шатохина, православного,
разнорабочего Микуцкого, католика,
терапевта Лисовича, униата,
счетовода Длутоленского, иудея,
продавца Алиева, магометанина,
так что мечтаемый экуменизм
осуществился за городом, в каменоломнях.

А доносили на них соседи:
Левченко, Назиров, Сараджишвили,
Ларионова, Тер-Акопян, и если б
немцы не были столь скрупулезны,
нашелся б и какой-нибудь Циперович,
ибо в ордене Иуды Искарюта
несть ни эллина, ни иудея.
Но смерть впоследствии всех уравнила.

И в доме теперь одни новоселы:
новые русские, новые татары,
новые украинцы, новые евреи —
новые не потому, что богаты,
а просто новенькие, и только.

В подъезде мяукают новые кошки,
вечерами милуются новые пары,
на площадках колются наркоманы,
торгаши орудуют в полуподвале.

И какая-то новая баба Леля
кричит с балкона новому Ленке:
кончай шалаться, неугомонный,
вертайся домой, садись за уроки.

И он несется по лестничным маршам,
взбегает на третий этаж и дробно
стучит в шестую — в мою квартиру.

1996

Воспоминания Леонида Григорьяна взяты из книги профессора РГУ Владислава Вячеславовича Смирнова «Ростов под тенью свастики», 2006.